

XV

Я стал разбирать дело еще с третьей, с чисто личной стороны. В числе явлений, особенно поразивших меня во время этой моей благотворительной деятельности, было еще одно, очень странное, которому я долго не мог найти объяснения. Это было вот что: всякий раз, как мне случалось на улице или дома давать бедному, не разговаривая с ним, какую-нибудь мелкую монету, я видел или мне казалось, что я видел, удовольствие и благодарность на лице бедного, и сам я испытывал при этой форме благотворительности приятное чувство. Я видел, что я сделал то, чего желал и ожидал от меня человек. Но если я останавливался с бедным и с участием расспрашивал его о его прежней и теперешней жизни, более или менее входил в подробности его жизни, я чувствовал, что нельзя уже дать 3 или 20 копеек, и я начинал перебирать в кошельке деньги, сомневаясь, сколько дать, давал всегда больше и всегда видел, что бедный уходит от меня недовольный. Если же я входил в еще большее общение с бедным, то еще больше увеличивалось мое сомнение о том, сколько дать, и, сколько бы я ни давал, бедный становился еще мрачнее и недовольнее. Как общее правило, выходило всегда так, что если я давал после сближения с бедным три рубля и больше, то почти всегда я видел мрачность, недовольство, злобу даже на лице бедного, и случалось, что, взяв десять рублей, он уходил, не сказав даже спасибо, так, как будто я обидел его. И при этом мне всегда бывало неловко, совестно, и я всегда чувствовал себя виноватым. Если же я неделями, месяцами, годами следил за бедным, и помогал ему, и высказывал ему свои взгляды, и сближался с ним, то отношения с ним становились мукой, и я видел, что бедный презирает меня. И я чувствовал, что он прав.

Если я иду по улице, а он, стоя на этой улице, просит у меня в числе других прохожих и проезжих три копейки, и я даю их ему, то я для него прохожий, и добрый, хороший прохожий, такой, который дает ту нитку, из которой составляется рубашка голому; он больше нитки ничего не ждет, и если я даю ее, он искренно благословляет меня. Но если я остановился с ним, поговорил с ним, как с человеком, показал ему, что я хочу быть больше, чем прохожий, если, как это часто случалось, он заплакал, рассказывая мне свое горе, то он видит во мне уже не прохожего, а то, что я хочу, чтобы он видел: доброго человека. Если же я добрый человек, то доброта моя не может остановиться ни на двугривенном, ни на 10 рублях ни на 100 рублях. Положим, я дал ему много, я оправил его, одел, поставил на ноги, так что он мог жить без чужой помощи; но по чему бы то ни было, по несчастию или по его слабости, порочности, у него опять нет и того пальто, и того белья, и тех денег, которые я дал ему, он опять голоден и холоден, и он опять пришел ко мне, — почему я откажу ему? И если он 20 раз пропил всё, что вы ему дали, и он опять холоден и голоден, если вы добрый человек, вы не можете не дать ему еще, не можете никогда перестать давать ему, если у вас больше, чем у него. А если вы попятитесь, то вы этим самым показали, что всё, что вы ни делали, вы делали не потому, что вы добрый человек, а потому, что перед людьми, перед ним хотели показаться добрым человеком.

И вот тут-то, с такими людьми, с которыми мне приходилось пятиться, переставать давать и этим отрезаться от добра, я испытывал мучительный стыд.

Что такое был этот стыд? Стыд этот испытывал я в Ляпинском доме, и прежде, и после в деревне, когда мне приходилось давать деньги или другое что бедным, и в моих похождениях по городским бедным.

Один недавно бывший со мною случай стыда живо напомнил мне и привел меня к разъяснению причины того стыда, который я испытывал при давании денег бедным.

Это было в деревне. Мне нужно было двадцать копеек, чтобы подать страннику; я послал сына, чтобы занять у кого-нибудь; он принес страннику двугривенный и сказал мне, что он занял у повара. Через несколько дней опять пришли странники, и мне опять понадобился двугривенный; у меня был рубль; я вспомнил, что должен был повару, пошел в кухню, надеясь, что у повара найдется еще мелочь. Я сказал: «Я у вас брал двугривенный, так вот рубль». Я еще не договорил, как повар вызвал из другой комнаты жену. «Параша, возьми», сказал он. Я, полагая, что она поняла, что мне нужно, отдал ей рубль. Надо сказать, что повар жил у нас с неделю, и жену его я видал, но никогда не говорил с ней. Только я хотел сказать ей, чтобы она дала мне мелочи, как она быстро нагнулась к моей руке и хотела поцеловать ее, очевидно, полагая, что я ей даю рубль. Я что-то пробормотал и вышел из кухни. Мне стало стыдно, мучительно стыдно, как давно не было. Меня корчило, я чувствовал, что делал гримасы, и я стонал от стыда, выбегая из кухни. Этот ничем незаслуженный, как мне казалось, и неожиданный стыд поразил меня особенно потому, что я давно уже так не стыдился, и потому, что я, как старый человек, как мне казалось, жил так, что не заслуживал такого стыда. Меня это очень поразило. Я рассказал это домашним, рассказал знакомым, и все согласились, что и они испытали бы то же. И я стал думать: отчего же это мне было стыдно? Ответ на это мне дал случай, бывший со мною прежде в Москве.

Я вдумался в этот случай, и мне объяснился этот стыд, испытанный мною с поваровой женой, и все те ощущения стыда, которые я испытывал во время моей московской благотворительности и который испытываю теперь постоянно, когда мне приходится давать людям что-нибудь, кроме той маленькой милостыни нищим и странникам, которую я привык давать и считаю делом не благотворительности, а благопристойности — учтивости. Если человек просит у вас огня, надо зажечь ему спичку, если есть. Если человек просит 3 или 20 копеек или даже несколько рублей, надо дать их, если есть. Это дело учтивости, а не благотворительности.

Случай был такой: я говорил уже о двух мужиках, с которыми я третьего года пилил дрова. Один раз вечером в субботу, сумерками, я пошел с ними вместе в город. Они шли к хозяину получать плату. Подходя к Дорогомиловскому мосту, мы встретили старика. Он попросил милостыни, и я дал ему 20 копеек. Я дал и подумал о том, как моя милостыня должна хорошо подействовать на Семена, с которым мы говаривали о божественном. Семен, тот владимирский мужик, у которого была в Москве жена и двое детей, остановился, тоже заворотив полу кафтана и достал кошель и из кошелька, поискав в нем, достал три копейки, дал их старику и спросил две копейки сдачи.

Старик показал на руке две трехкопеечные и одну копейку. Семен посмотрел, хотел взять копейку, но потом раздумал, снял шапку, перекрестился и пошел, оставив старику три копейки. Я знал всё имущественное положение Семена. У него не было дома и не было никакой собственности. Денег он сбил по тот день, в который он подал 3 копейки, 6 рублей 50 копеек. Стало быть, 6 рублей 50 копеек было всё его сбережение. Мое сбережение равнялось приблизительно 600-м тысячам. У меня были жена и дети, у Семена были жена и дети. Он был моложе меня, и детей у него было меньше; но дети у него были малые, у меня же уж было двое в возрасте работников, так что наше положение, кроме сбережения, было равное; пожалуй, даже мое несколько выгоднее. Он дал 3 копейки, я дал 20. Что же дал он и что я? Что бы я должен был дать, чтобы сделать то, что сделал Семен? У него было 600 копеек; он дал из них одну и потом еще две. У меня было 600 тысяч. Чтобы дать то, что Семен, мне надо было дать 3000 рублей и просить 2000 сдачи и, если бы не было сдачи, оставить и эти две тысячи старику, перекреститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о том, как живут на фабриках и почему печенка на Смоленском. Я тогда же подумал об этом; но только долго после того я был в состоянии сделать из этого случая тот вывод, который неизбежно из него вытекает. Вывод этот так необыкновенен и странен кажется, что, несмотря на его математическую несомненность, нужно время, чтобы привыкнуть к нему. Все кажется, что тут должна быть какая-нибудь ошибка, но ошибки нет. Есть только страшная тьма заблуждений, в которой мы живем.

Этот-то вывод, когда я пришел к нему и признал его несомненность, объяснил мне мой стыд перед женой повара и перед всеми бедными, которым я давал и даю деньги.

В самом деле, что же такое те деньги, которые я даю бедным и которые повара жена думала, что я даю ей? В большей части случаев это такая доля моих денег, которую невозможно даже выразить цифрой для Семена и для поваровой жены, — это большею частью одна миллионная или около того. Я даю так мало, что давание мною денег не есть и не может быть для меня лишением; оно есть только потеха, которой я забавляюсь как и когда мне вздумается. И так и поняла меня повара жена. Если я даю проходящему с улицы рубль или 20 копеек, то отчего же мне не дать и ей рубль? Для поваровой жены такое раздавание денег есть то же, что швыряние господами пряников в народ; это забава людей, имеющих много дурашных денег. Мне стыдно было оттого, что ошибка поваровой жены прямо показала мне тот взгляд, который она и все небогатые люди должны иметь на меня: «швыряет дурашные, т. е. не трудовые, деньги».

В самом деле, какие мои деньги и откуда завелись они у меня? Часть их я собрал за землю, полученную мною от отца. Мужик продал последнюю овцу, корову, чтобы отдать мне их. Другая часть моих денег — это деньги, которые я получил за мои сочинения, за книги. Если книги мои вредны, то я только соблазном сделал то, что их покупают, и деньги, которые за них я получаю, — дурно добытые деньги; но если книги мои полезны людям, то выходит еще хуже. Я не даю их людям, а говорю: дайте мне 17 рублей, и тогда я дам вам их. И как там мужик продает последнюю овцу, здесь бедный студент, учитель, всякий бедный человек лишает себя нужного, чтобы дать мне эти деньги. И вот я набрал много таких денег, и что же я делаю с ними? Я привожу эти деньги в город и отдаю их бедным только тогда, когда они будут исполнять мои прихоти и придут сюда в город чистить для меня тротуары, лампы, сапоги, работать для меня на фабриках. И за эти деньги я выторговываю у них всё, что могу,

т. е. стараюсь как можно меньше дать им и как можно больше получить от них. И вдруг я совершенно неожиданно начинаю так, просто задаром, давать эти самые деньги этим же бедным — не всем, но тем, кому мне вздумается. Как же не ожидать каждому бедному, что, может, и на него выпадет нынче счастье быть одним их тех, с которыми я забавляюсь, раздавая мои дурашные деньги? Так и смотрят на меня все, так посмотрела и поварова жена.

И я до такой степени заблудился, что это отбирание у бедных одной рукой тысячей, а другой швыряние копеек тем, кому вздумается, я называл добром. Не мудрено, что мне было стыдно.

Да, прежде чем делать добро, мне надо самому стать вне зла, в такие условия, в которых можно перестать делать зло. А то вся жизнь моя — зло. Я дам 100 тысяч и всё не стану еще в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня ничего не будет, я буду в состоянии сделать хоть маленькое добро, хоть то, что сделала проститутка, ухаживая три дня за больной и ее ребенком. А мне казалось это так мало! И я смел думать о добре! То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя и нельзя, — это одно была правда.

Версия #1

Зверобой создал 28 марта 2025 08:22:50

Зверобой обновил 28 марта 2025 08:23:16